

ДРЕВНЯЯ РУСЬ ПОЛЬСКИХ РОМАНТИКОВ

Хероним Граля — доктор гуманитарных наук, профессор факультета “Artes Liberales” Варшавского университета, руководитель “Comissio Polono-Russica”. Главный редактор серии «Памятники истории Восточной Европы. Источники XV–XVII вв.» (Москва-Варшава). Варшавский Университет. Республика Польша, 00-046, Варшава, ул. Новы Свят, 69.
ORCID: 0000-0003-3755-2469
E-mail: grala@al.uw.edu.pl



 **Аннотация.** В статье на основании широкого круга письменных источников (литературные произведения, дневники, лекции, переписка) рассматривается место истории Древней Руси в творчестве самых выдающихся польских романтиков — Адама Мицкевича и Юлиуша Словацкого. Проанализирована связь отдельных исторических сюжетов с кругом литературных интересов романтиков, их начитанностью, но тоже самостоятельными попытками создать свою личную историософию общности судеб славянских народов. Благодаря анализу средневековых польских и русских источников внесены многие коррективы в интерпретации отдельных сюжетов и их исторического контекста. Отдельно проанализирован вопрос зависимости исторических представлений авторов от культуры и традиции «русских» земель бывшей Речи Посполитой, и характеризующей ее многовековой антиномии: Русь (Ruthenia) vs Россия (Moscovia).

 **Ключевые слова:** Древняя Русь, А. Мицкевич, Ю. Словацкий, славяне, польский романтизм, русско-польские отношения

 **Ссылка для цитирования:** Граля Х. Древняя Русь польских романтиков // Философические письма. Русско-европейский диалог. 2021. Т. 4, № 1. С. 159–189.

 **DOI:** 10.17323/2658-5413-2021-4-1-159-189

Особое место эпохи романтизма в истории польской литературы для развития польской поэзии и драмы, распространения и прославления польской культуры в мире не подлежит сомнению. Глубока ее связь с трагедией государства и народа, их отражением в литературном творчестве, а ее роль в создании и укреплении с помощью литературы общенародного *imaginarium* — национальных мифов и стереотипов — не требует никаких дополнительных доказательств. Время разделов Польши занимает особое место. И это неудивительно, если мы вспомним о патриотической миссии и особом авторитете Поэта во времена, когда Родиной у поляков, разделенных границами стран-захватчиков, был Язык — другой не было...

Мицкевич предчувствовал это уже во времена своего отнюдь не добровольного пребывания в России, когда писал своего «Конрада Валенрода» (1828):

Родное слово, речь народа!
 Язык средь жизненного хода
 Стоишь ковчегом ты святым,
 И служишь сводом сопряженья,
 Заветом вечного сближенья
 Между отжившим и живым.
 В твои хранительные грани
 Народ слагает, в виде дани,
 Всю жизнь свою, свои мечты,
 Геройский меч питомца брани,
 Понятий нити, мыслей ткани
 И чувства святы цветы.

(Mickiewicz, 1863: 47–48)

Хотя у Мицкевича субъектом сей инвокации является “*Pieśń gminna, arka przymierza między dawnymi i nowymi laty*” (в буквальном переводе: «Песнь древняя, арка сопряженья меж древними и новыми летами»), но все-таки российский переводчик В. Бенедиктов прекрасно уловил смысл поэтического послания. Речь не об абстрактной народной традиции, а именно о роли языка и литературы в сохранении национального духа: «Но песня... песня сохранится» (“*Pieśń ujdzie cało*”) (Там же: 48).

Для поляков времен разделов Польши именно произведения «вещих поэтов» (*Wieszczowie*) имели особое значение, что отмечали как современники («Мы все от него» — Зигмунд Красинский, 1856), так и благодарные потомки («Ибо ко-

ролям был равен» — Юзеф Пилсудский во время похорон мощей Словацкого в кафедральном соборе королевского замка на Вавеле, 1927).

Творчество романтиков, в первую очередь триады «вещих поэтов» — Адама Мицкевича (1798–1855), Юлиуша Словацкого (1809–1849) и Зигмунта Красинского (1812–1859) изучалось, изучается и, наверное, будет изучаться в Польше с особенной интенсивностью и пиететом. Иногда небеспристрастно (достаточно вспомнить нашумевший цикл фельетонов Т. Боя-Желеньского “*Brażownicy*” («Бронзовщики», 1930), нередко — если применить музыкальную терминологию — “*andante*”¹, а иногда даже “*con fuoco*”².

Если к существующему громадному наследию польских исследователей добавить еще внушительный пласт зарубежного литературоведения, среди которого российская полонистика “*pars magna fuit*”³, то может показаться, что творчество великих наших поэтов изучено тщательно и скрупулезно, и сложно найти здесь сюжет недостаточно исследованный, а тем паче малоизученный.

Довольно характерное — особенно в наши времена — отсутствие близких контактов между литературоведением и историографией привело к странному явлению. Мы относительно плохо представляем себе исторические (и историографические!) инспирации романтиков, мало знаем об их конкретной исторической подготовке, о знании древних источников и особенно об «историческом станке» творцов, для которых именно ИСТОРИЯ являлась не только декорацией и костюмом, но и основной материей их повествования. Ведь их профетические видения имели в первую очередь историософский характер!

Историки литературы довольно часто путаются в подробностях и мелочах, для «обыкновенного» историка очевидных, строят нередко фантастические концепции, теряя из виду фон данной эпохи. Они предлагают сомнительные прочтения (*lectio*) и тратят много энергии и сил на поиск духовных корней и эмоциональных откровений там, где без особых затруднений можно указать весьма конкретные интеллектуальные побуждения и реальные источники...

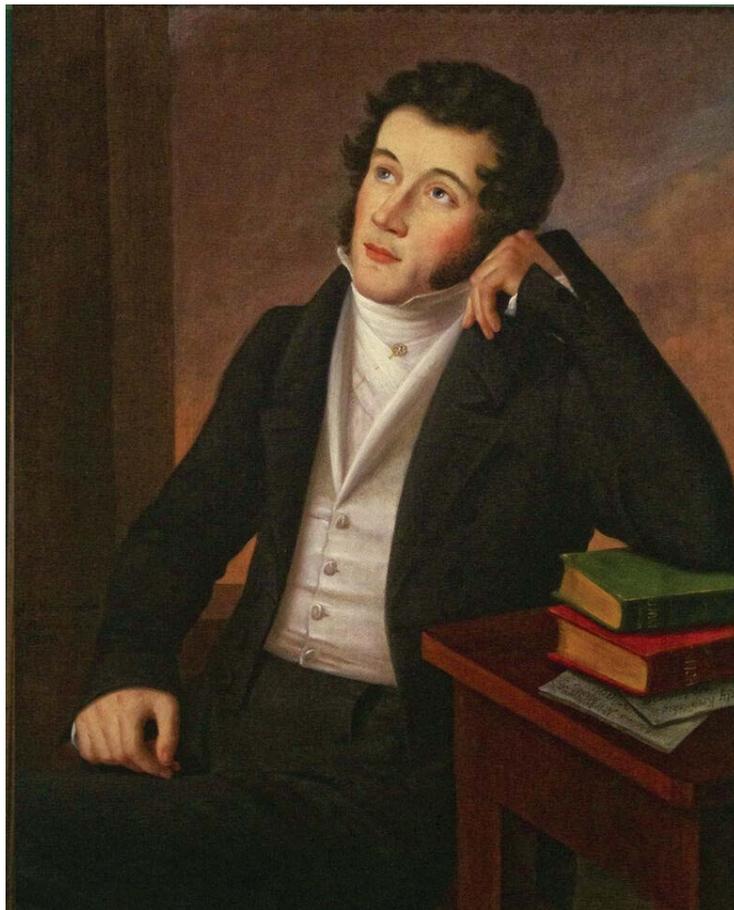
Доказательством для нашей горькой констатации может послужить вопрос о русских (в смысле: древнерусских, отнюдь не российских) мотивах в творчестве указанной выше триады «вещих поэтов». Сюжет «Руси» имел для них фундаментальное значение, в первую очередь потому, что касался исторических корней Российской империи, которую все польские романтики считали главным врагом и зачинщиком разделов Польши. Ограниченные размеры данного текста не дают

¹ Здесь: неспешно (*ит.*)

² Здесь: с огоньком (*ит.*)

³ Играет не последнюю роль (*лат.*)

возможности представить эту проблему во всей полноте, поэтому мы остановимся лишь на некоторых существенных особенностях восприятия Древней Руси польскими романтиками. Справедливости ради отметим, что отдельные его аспекты были отмечены нами довольно давно, но остались незамеченными как польскими, так и российскими литературоведами (Grala, 1992: 149–152). Наоборот, ряду сюжетов, которые здесь мы вынуждены только обозначить, значительно больше места будет уделено в отдельном исследовании “*Ruś średniowieczna polskich romantyków — między historią i mistyką*”⁴, которое сейчас готовится к печати.



Ю. Олешкевич. Портрет Адама Мицкевича, 1828

* * *

Начнем с творчества Мицкевича, близкие связи которого с литературной элитой Империи Романовых и особенно дружба, соперничество и полемика с А.С. Пушкиным отражены в большом количестве работ. Однако в монументальном «мицкевичеведческом» компендиуме (“*Kronika życia i twórczości Adama Mickiewicza*”. Т. I–VIII. 1957–1996) — визитной карточке польского литературоведения, — не хватает именно тома II, относящегося к российскому периоду жизни поэта (октябрь 1824 — апрель 1829)!

Центральное место в мицкевическом видении России занимают те произведения поэта, которые появились после его отъезда из царской империи в эмиграцию. Это произошло в немалой степени вследствие драматических событий Ноябрьского восстания 1830–1831 годов («Редут Ордона»), под влиянием ностальгии по утраченной родине («Пан Тадеуш»), а также благодаря личному

⁴ «Средневековая Русь польских романтиков — между историей и мистикой» (пол.)

опыту поэта. К 3 части поэмы «Дяды» (1832) примыкает «Отрывок» — цикл стихотворений с картинами России: «Памятник Петру Великому», «Дорога в Россию», «Петербург». Фундаментальное значение имеет здесь его спор с той частью литературной элиты России, которая поддержала «усмирение польского мятежа» (в первую очередь имеется в виду Пушкин с его знаменитым стихотворением «Клеветникам России», 1831) и для которой польский поэт не щадит горьких упреков в стихотворении «К русским друзьям» (*“Do Przyjaciół Moskali”*, 1832):

А может, кто триумф жестокости монаршей
 В холопском рвении восславить ныне тщится?
 Иль топчет польский край, умывшись кровью нашей,
 И, будто похвалой, проклятьями кичится?

(Якобсон, 1984)

Как известно, данное произведение вызвало резкий ответ Пушкина («Он между нами жил»), правда, опубликованное только в 1841 году, после его смерти, хотя Мицкевич призывал в нем к борьбе не с русским народом, а с царской властью, угнетающей как поляков, так и русских. Кажется, Пушкина как представителя имперской элиты, камер-юнкера, задел в первую очередь вопрос Мицкевича, обращенный к русским поэтам: остались ли они верны своим свободолюбивым идеалам? Однако, учитывая обстановку после восстания 1830 года, посыл его обращения даже в польской среде можно было воспринять как «семантическую провокацию» (Kępiński, 1990: 138).

Древнерусская проблематика проявилась в творчестве Мицкевича очень рано, в первую очередь в контексте истории родной Новогрудчины. И в этом нет ничего удивительного, ведь Новогрудок — одна из исторических столиц Великого княжества Литовского (ВКЛ). Сюжеты из истории этого государства неоднократно появляются в творчестве поэта — потомка русской шляхты Речи Посполитой. Вместе с быстрым расширением своих границ на восток оно подвергалось быстрой рутенизации (особенно это касалось элиты). Новогрудчина занимала важное место в монархии Миндовга, Гедимина и Ольгерда, а великокняжеский двор, государственный аппарат и вся высокая культура ВКЛ XIII–XIV веков являлись важной частью средневековой русской цивилизации.

Первым, откровенно говоря, достаточно неудачным произведением поэта, в котором прослеживаются древнерусские мотивы, является рассказ «Живила» (*“Żywila”*), напечатанный как произведение анонимного автора в газете *“Tygodnik Wileński”* (1819, № 123). Его главным мотивом является верность родине (геро-

иня — литовская девушка Живиля убивает своего возлюбленного за то, что тот впускает в родной город русского князя Ивана и его дружину), а исторический контекст достаточно фантастичен. Действие происходит в 1400 году в Новогрудке, где правит литовский князь Кориат (исторический персонаж с таким именем — князь Кориат Гедиминович, умер ок. 1365). Он воюет с каким-то «русским» князем Иваном (?), а его дочь Живиля любит рыцаря Порая (тут поэт сделал реверанс перед семейной традицией — Мицкевичи пользовались гербом Порай), по стечению трагических обстоятельств — предателя родины (Mickiewicz, 1866). Весьма интересно, что в рассказе сильно акцентируется языческая религия литовцев (культ Перуна), при этом исторический Кориат был христианином (Tęgowski, 1999: 166).

Более осмысленную, но не менее фантастическую трактовку истории русско-литовских конфликтов принесли первые зрелые произведения поэта: «Баллады и романсы» (*“Ballady i romanse”*, 1822). В балладе «Свитязь» (*“Świtez”*) появляется какой-то анонимный «русский царь» (*“Car z Rusi”*), который осаждает Миндовга в Новогрудке:

Однажды могучая русская рать
Пришла, осадила Миндовга.
Миндовг устоит ли? чего ему ждать?
Пошла по Литве всей тревога.
(Mickiewicz, 1882: 12)

Правитель города Свитязь, друг Миндовга князь Туган (очередной светский реверанс поэта с помощью псевдоисторических реалий, на этот раз перед семьей его возлюбленной Марыли, отцу которой Антонию Верещাকে принадлежало имение Тугановичи, неподалеку от озера Свитязь), спешит монарху на помощь, но оставляет без защиты свой город, к которому ночью приходит русская рать. В тот страшный час небеса прислушались к мольбам беззащитных женщин, желающих избежать рабства и позора, и город погрузился в воду озера, а на его поверхности расцвели цветы — «Свитязя жены и дети», которых милосердный Бог превратил в растения, как выяснилось — смертельные для захватчиков:

Когда же царь русский и русская рать
О чудных цветах тех узнали,
То ими спешили шелом украшать
Венки для себя заплетали.

Но кто прикасался к ним только рукой, —
 Такая в цветах была сила, —
 Тот разом здоровье терял и покой,
 Того ожидала могила.

(Там же: 14)

Сюжет ядовитых цветов, которые местное население якобы именовало «цари» — чаще всего ботаники узнают в них ядовитый вид лобелии (*lobelia Dortmanis*) (Chodurska, 2019), — отличает повествование Мицкевича от других вариантов распространенных в традиции славян, а также угрофиннов и балтов, топоса о таинственном городе, погруженном в воду. В случае Свитязя особого внимания заслуживает его древнерусский аналог город Китеж. Причем не только в силу очевидного фонетического сходства между названиями Свитязь и Китеж (к тому же в названии озера, которое поглотило этот город, — Светлояр —



И.Ф. Хруцкий. Портрет Адама Мицкевича, 1850-е. Литературный музей Пушкинского Дома РАН, Санкт-Петербург

явно перекликаются корни «Свит-» и «Свет-»), но и в силу возможного участия в передаче данного предания новообразовавшейся в Вильне общины старообрядцев, для которых «Сказание о невидимом граде Китеже» имело черты сакрального текста (в конце 1820-х годов появится в городе старообрядческое кладбище). Истины ради напомним, что во времена Миндовга о войне с «русским царем» и речи быть не могло: вся Залеская Русь истекала кровью после недавнего набега Батыя, а «русским» соперником литовского монарха являлся в первую очередь галицкий князь — скоро король — Даниил Романович.

Не менее интересный сюжет с древнерусским мотивом в балладе «Будрыс и его сыновья» (*“Trzech budrysów”* — 1829), известной знаменитым переводом А.С. Пушкина и песней Станислава Монюшко, которую исполнял Федор Шаляпин.

В литературе преобладает мнение, что из-под пера Пушкина вышел «чрезвычайно точный перевод, считающийся непревзойденным шедевром переводческого искусства» (Venclova, 1986). Однако достаточно сравнить следующий пассаж в подлиннике:

Bo mówiono mi w Wilnie, że otrąbią niemylnie
Trzy wyprawy na świata trzy strony:
Olgierd ruskie posady, Skirgiełł Lachy sąsiady,
A książdz Kiejstut napadnie Teutony. <...>
Jeden z waszych biec musi za Olgierdem ku Rusi,
Ponad Ilmen, pod mur Nowogrodu;
Tam sobole ogony i srebrzyste zasłony,
I u kupców tam dziengi jak lodu.

и в переводе:

Справедлива весть эта: на три стороны света
Три замышлены в Вильне похода.
Паз идет на поляков, а Ольгерд на прусаков,
А на русских Кестут воевода.
Будет всем по награде: пусть один в Новеграде
Поживится от русских добычей.
Жены их, как в окладах, в драгоценных нарядах;
Домы полны; богат их обычай.

Оказывается, в списке предводителей литовских походов на соседей в переводе Пушкина знаменитого представителя династии Ольгердовичей — православного князя Скиргайла-Ивана — неожиданно заменил какой-то Паз, чье имя упоминается в тексте еще раз («Третий с Пазом на ляха пусть ударит без страха»)! Чем объяснить столь мощное вторжение русского поэта в замысел Мицкевича, если учесть, что Скиргайло — брат Ягайло, православный князь киевский, похороненный в Печерской лавре (Tęgowski, 1999: 98–104), — был хорошо известен русскому читателю?

Ответ на этот вопрос возможно надо искать опять в полемике поэтов вокруг восстания 1830 года. Ведь «Паз» — это Пац. Во времена Пушкина самым известным представителем рода Пацов, литовской аристократии, был генерал Людвик Пац — участник наполеоновских войн (трижды отмеченный Почетным легионом), адъютант Наполеона во время похода на Россию (1812), сенатор Цар-

ства Польского, голосовавший за детронизацию Николая I, прославленный своим мужественным поведением во время сражения инсургентов против российской армии при Остроленке (1831), кандидат на должность главнокомандующего польской армией, а после падения восстания — эмигрант, лишенный царской властью своих огромных владений (Tarczyński, 1988: 140, 271).

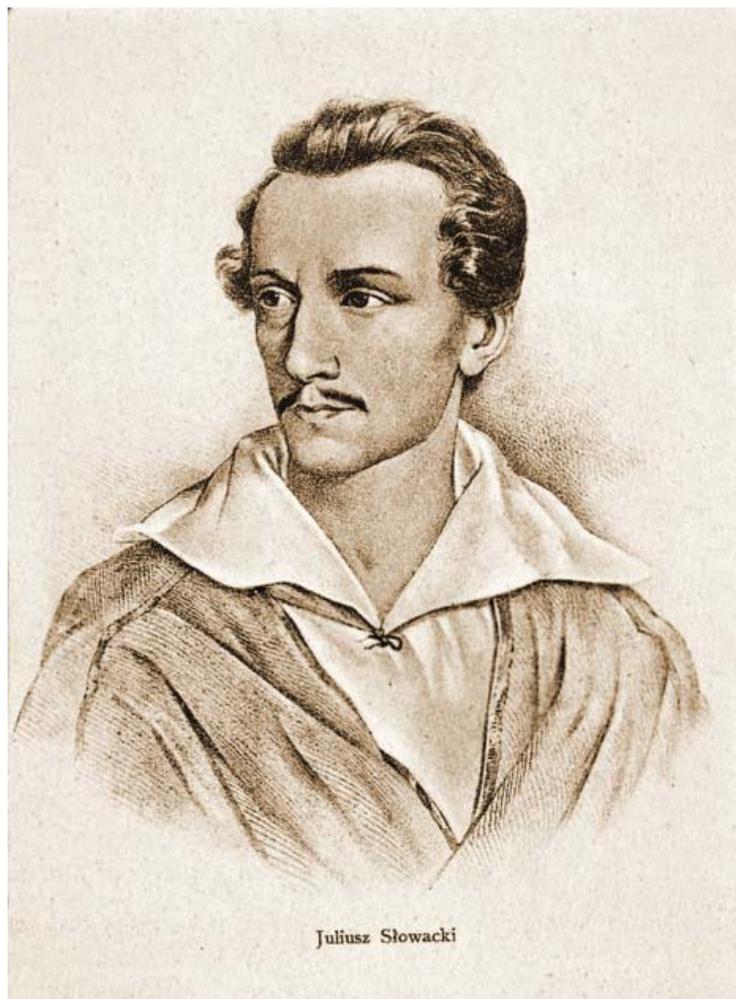
Причины, почему Пушкин столь бесцеремонно обошелся с историческим сюжетом баллады Мицкевича, надо рассматривать в контексте спора о Ноябрьском восстании. Российский поэт перевел творение своего польского оппонента осенью 1833 года; перевод был напечатан в «Библиотеке для чтения» в 1834 году. И тогда же Александр Сергеевич сочинил самый «анти-Мицкевичевский» текст («Он между нами жил»). Подмена имени литовского князя, который воюет против ляхов, известного литовского инсургента и горячего польского патриота, кажется в тех условиях даже не иронией, а издевательством.

Особое место в творчестве Мицкевича занимают его лекции о славянской литературе в *College de France* (1840–1844), где Древней Руси и русско-польским отношениям отведено особое место (Walicki, 1970; Kiślak, 2011, Dudek, 2020; Hoffmann-Piotrowska, 2020). Как известно, поэт к своей академической роли готовился весьма серьезно, изучая основные труды польских (Нарушевич, Нимцевич, Лелевель) и российских авторов (в первую очередь Карамзин и Ломоносов), и прибегал к помощи своих друзей из кругов российской диаспоры в Париже для приобретения научных новостей. Во время своих докладов, которые пользовались большой популярностью среди польских и российских эмигрантов, Мицкевич очень часто обращался к сюжетам из русской истории, формулируя неоднократно весьма смелые тезисы. Уже во второй лекции (29.12.1840) он изложил свой взгляд на то, что в условиях татаро-монгольского ига Русь никогда не прекращала пассивного сопротивления (*“Ruś zwyciężona nigdy nie przestała stawiać biernego oporu”*⁵).

Особое место занимал в парижских лекциях вопрос этногенеза славян. Поэт, достаточно тщательно изучив спор норманистов и антинорманистов, противопоставил легенду хронистов о Лехе и Чехе летописной традиции о прибытии варягов, в будущем пополненную сюжетом угро-финского субстрата северной Руси. Причем лектор подчеркивал цивилизационное превосходство славян, их языка (лекция 6 от 15.01.1841) и литературы. Среди важнейших заслуг Мицкевича перед русской культурой надо вспомнить его выводы об уровне и богатстве древнерусской литературы. Именно с его слов изумленная светская публика «культурной столицы мира» впервые услышала о «Слове о полку Игореве» (лекция 14).

⁵ Русь побежденная никогда не переставала оказывать пассивного сопротивления (пол.)

Изучение рубежа Средневековья и Нового времени привело Мицкевича к весьма оригинальному выводу о трех видах деспотизма у славян: легального (чехи), кастового (поляки) и монгольского (Россия). Мицкевич отнюдь не ограничивался древнерусской проблематикой. Немало внимания он посвятил также зарождению и развитию московского самодержавия, эпохе Ивана Грозного и даже правлению царя Федора Ивановича. Причем в оценках деятельности последнего он был гораздо более сдержан, чем современные ему историки (Mickiewicz, 1955: VIII–XI). По сути проблематика лекций частично выходит за пределы нашего исследования из-за специфической формы их со-



Юлиуш Словацкий

хранности (записки слушателей) и достаточно ограниченного влияния на литературу. Но не надо забывать об их большом резонансе у современников, среди которых первое место занимает второй из «вещих поэтов» — Юлиуш Словацкий, слушатель самих докладов, которому суждено было обращаться в своем творчестве к русским мотивам значительно чаще.

* * *

Вопрос о том, почему именно в произведениях Юлиуша Словацкого древнерусские сюжеты играют более значимую роль и сопутствуют творчеству поэта с самого начала, нуждается в дополнительном объяснении. Вряд ли можно несомненное богатство русской тематики свести к влиянию различных учебных курсов, начиная с Гердера и заканчивая Мицкевичем. Не убеждает нас и вывод М. Пивинской, что русские сюжеты являются следствием разделов Польши и «славянского явления» Европе, символом которого были козацкие биваки в Париже. Не убеждает и ее констатация, будто Словацкий читал «Историю государства

Российского» Н.М. Карамзина именно потому, что славянская идея была тогда одним из ключей к политике (Piwińska, 1992: 330). Ведь вряд ли поэту, уроженцу и воспитаннику «западных губерний», в которых жива была память Барской конфедерации и восстания Костюшки, помогли открыть глаза на роль России в европейской истории и политике казачьи биваки на Монмартре (да еще спустя несколько десятков лет после победоносного похода Александра I в Европу). Кроме того, наличие царских гарнизонов и казацких постов было повседневным явлением для его родных краев. Да и само «явление России» имело в Европе значительно более древнюю традицию, о чем свидетельствовали события Семилетней войны (взятие Берлина и Кёнигсберга) и переписка корифеев Просвещения — Вольтера и Дидро — с Екатериной II, получившей прозвание «Семирамида Севера». Наряду с характерной для поэта своеобразной источниковедческой техникой мы наблюдаем совпадение его личных интересов с важным этапом в развитии отечественной историографии — нарастающим вниманием к истории польского Средневековья, что неизбежно приводило польских историков и историософов к древнерусской проблематике.

Эпоха формирования исторических взглядов Словацкого совпадает не только с польским переводом сочинения Карамзина (1816–1829), но и с появлением самой фундаментальной (и весьма критической) рецензии на данный труд Иоахима Лелевеля (1786–1861), напечатанной в «Северном архиве» в 1822 (№ 23) и в 1824 (№ 1, 2, 3) (Mocha, 1972). Совпадает она и с первыми польскими изданиями и переводами памятников древнерусской письменности (Аугустин Белевски, 1806–1876), архивными изысканиями Игнатия Н. Даниловича (1788–1843), пионерскими археологическими поисками Зориана Доленги-Ходаковско-го (1784–1825).

Известно, что в научном обиходе находилась тогда монументальная «История польского народа» (*Historia narodu polskiego*) Адама Нарушевича (1733–1796), тома II–VII которой были напечатаны еще в последние годы Речи Посполитой (1780–1786), а I том увидел свет только в 1824 году в Вильне, накануне поступления Словацкого в местный университет. Труд Нарушевича отличался весьма скрупулезным источниковедческим подходом и широтой архивных поисков, о чем свидетельствует неугасающий и в наше время интерес ученых к его выпискам и картотекам (так называемые теки Нарушевича).

Банальная констатация зависимости исторических взглядов поэта от прочитанной им литературы вряд ли сможет полностью раскрыть несомненное богатство его инструментария. Словацкий любил и умел играть с историей, особенно с фактографией, неоднократно меняя хронологический порядок событий, приписывая участие в них другим героям, свободно перенося факты из истори-

ческой традиции одного народа в традиции другого (Польша — Русь), создавая тем самым настоящие интеллектуальные головоломки или историсофические кроссворды. Конкретный пример — эпопея «Король-Дух», в которой мы имеем дело с присутствием древнерусских сюжетов. Однако далеко не всегда их русскость самоочевидна и выявлена исследователями (редкое исключение в этом плане представляют ценная книга Елизаветы Кисляк и ряд статей Марка Трошинского) (Kisłak, 1991; Трошинский, 2011; Troszyński, 2014; 2016).

К древнерусской проблематике Словацкий пришел достаточно рано, уже в своей первой драме «Миндовг, король литовский» (“*Mindowe*”), написанной еще в Польше (осень 1829), но изданной в эмиграции (Париж, 1832). И хотя сам ход событий в ней содержит не очень много древнерусских мотивов, если не считать неоднократных намеков о соперничестве литовского короля с монархами Руси (в первую очередь — с галицким князем Даниилом), среди ее героев мы находим двух очень важных для средневековой Руси персонажей — князей Довмонта и Войселка. Вряд ли современный читатель сразу заметит, что убийца главного героя, который прячется в кортеже посла Ордена крестоносцев, доставившего литовскому монарху королевский венец от римского папы, — весьма известный человек, будущий псковский князь Довмонт-Тимофей, гроза язычников-литовцев и латинян-немцев, в конце XVI века причисленный Русской православной церковью к лику святых (Охотникова, 1985). Не менее интересным кажется и случай Войселка, который действительно — как в драме — был монахом, но не католиком, а православным (в будущем он стал первым православным правителем Литвы!). Поэтому с большой вероятностью можно утверждать, что события IV акта драмы происходят в известном Лавришевском монастыре — важном центре древнерусского монашества (Goldfrank, 1988). По-видимому, Словацкий сознательно нивелировал упомянутый православный контекст, чтобы не ослаблять динамику столкновения христианства (персонификацией которого является римско-католический обряд) с язычеством, одного из стержневых составляющих сюжета. Благодаря авторскому введению к I изданию драмы известно, что Словацкий приступил к работе над ней после знакомства с трудом Карамзина и какими-то хрониками (поэт упоминал завещания древнерусских князей, с симпатией отмечая их «гомеровскую бедность») (Słowacki, 2013: 51).

Именно историографический контекст позволил Словацкому обратиться к историческим событиям и реальным лицам. Ведь все главные *dramatis personae* — Миндовг, Довмонт, Войселк, Альдона и даже папский легат Гейденрайх, правда превратившийся в рыцаря-крестоносца, — исторически реальные люди, имена которых упоминаются в источниках, в отличие от весьма фантастических персонажей из упомянутой выше «Живили» Мицкевича или его же «Гражины». Кроме

того, даже именуя анонимную мать Миндовга Рогнедой, Словацкий обращается к древнерусским мотивам: ведь Рогнеда — персонаж хорошо известный по «Повести временных лет». Это псковская княжна, супруга Владимира Великого и мать Ярослава Мудрого.

По-видимому, именно «Король-Дух» — незавершенная эпопея Словацкого — является самым ценным источником и свидетельством весьма сложной историософии великих польских романтиков, а заодно и неплохим путеводителем в мире их историографических инспираций. Именно в данном произведении автору удалось объединить два доминирующих тогда представления об истоках «российскости»: норманнское начало и ордынское наследие. Ведь первыми монархистами Руси являются для поэта отнюдь не славянские князья, «не из славянского рода, а из латышей русских градов похитители» (“*Nie ze Słowian rodu / Ale z Łotyszów miast ruskich złodzieje*”) (Słowacki, 1952: V, 186). Последствий «брака» кровавой династии северных захватчиков и обманутой безвольной Руси, соблазненной миражом славы, согласно мнению Словацкого, не смогло сгладить даже святое дело Крещения, воспринятого Рюриковичами достаточно прагматично. Стоит здесь подчеркнуть, как изящно поэт выявил суть этого страшного обмана, ввиду подмены библейского «Слова» мирской «славой»):

Tacy książęta przez lud zaproszeni
Który O wielkie już na A zamienił
I cały Słowa wyrzekł się promieni ⁶
(Ibid.: 135)

Именно в северных варяжских корнях Словацкий усматривал кровавое начало русской династии, явно транслируя деяния Рюриковичей на будущее — в эпоху Романовых. Ведь когда поэт говорит о «северных злодеяниях» и «государынях более кровавых, чем государи», которые умели «прикрыть кровопролитие позолоченным крестом и блистающей броней», он не зря использует *pluralis*⁷:

I wstały zbrodnie północne — olbrzymie
i od monarchów krwawsze monarchinie,

⁶ Князья такие призваны народом,
Который О велико уже на А заменил
И отказался весь от лучей Слова
(Пер. с пол. Х. Гралья)

⁷ Множественное число (лат.)

którzy umieli krew pozłocić swoją
krzyżem złoconym i błyszcząca zbroją⁸
(Ibid.: 136)

Кажется, что хронологическая подоплека рассказа легко понятна: продолжением чудовищной мести Ольги является деятельность императрицы Екатерины II, рожденной как немецкая принцесса София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская (*Sophie Friederike Auguste von Anhalt-Zerbst*). В целом такое сопоставление у потомка разрушенной императрицей Речи Посполитой не удивляет.

Не менее интересным представляется взгляд Словацкого на первые века Руси, в которых видит он постоянную борьбу «северных славян» против Слова (*Logos*):

Ciągłe nieszczęście mogił pod Kijowem
To walka Słowian północnych ze Słowem⁹
(Ibidem)

Логичным продолжением такого подхода явился взгляд на наследственный характер земель со стороны «мрачного и непонятного государства», которому присущ «ужасный румянец крови князей» (*“krwiał kniaziów okropnie rumiane”*) и которое «постоянно накладывает кандалы на Дух» (*“wiecznie kładące kajdany na ducha”*). Персонификацией этой ужасной монархии является «стоящая на северных славянах скандинавская черная упыриха» (*“stojąca na północnych Słowianach skandynawska czarna upiorzyca”*) (Słowacki, 1925: I, 127, 175).

Представление о неизбежности исторической опасности углубляет ужасающий монолог короля Владислава Ягайло из драмы «Завиша Черный» (*“Zawisza Czarny”*) про привидение литовского князя Кейстута у стен побежденной Москвы (*“kiedy powojował cary”*). Неистовый адский смех (*“śmiech piekielny”*), который покрыл кровью (*okrwawił*) лицо завоевателя, и таинственное чувство физической боли сердца, как будто бы кто-то ему «медленно вытаскивал из-под ребер кишки» (*“Spod żeber wolno wyciągał jelita”*), являлись предвестием будущего поражения Лит-

⁸ И поднялись северные злодеяния — великие
И государыни, более кровавые, чем государи,
Которые умели прикрыть кровопролитие
Позолоченным крестом и блистающей броней.
(Пер. с пол. Х. Граля)

⁹ Могил несчастье длится под Киевом,
Славян северных это бой со Словом.
(Пер. с пол. Х. Граля)

вы (и Польши!). Напомним, что данную сцену с пророческим посылом завершает хор, который изображает Москву «над красным паром в чепцах золотых сидевшей ведьмой старой» (*“nad czerwona parą w czerpcach złotych siedzącą niby wiedźmę starą”*) (Słowacki, 1952: X, 97–99). В противовес чудовищной Москве, на страницах драмы упоминается и Русь, связанная с польско-литовским государством. Здесь мы встречаем рыцарей из Руси Коронной (упоминаются древние галицкие князья), которые участвуют в борьбе с «бусурманами», защищая границы родины от набегов татар, и в походе императора Сигизмунда Люксембургского против турок (1428), а также смоленских бояр во время сражения при Грюнвальде.

Образ средневековой Руси (Киевской!), созданный поэтом, вне сомнения питался воспоминаниями юности, в том числе очевидной завроженностью пластической красотой восточнославянского церковного обряда (монолог короля Болеслава Смелого в «Короле-Духе») и древними иконами (упоминание о «черном индийском лице Спасителя»). Однако при столкновении с Москвой он трансформировался: красота и богатство становились лишь декорацией для безжалостности и крутого нрава местных князей — ханских ставленников. Олицетворением той генерации Рюриковичей является князь Юрий Данилович, личный враг и виновник гибели самого важного из всех древнерусских персонажей в творчестве Словацкого — великого князя Михаила Ярославовича Тверского. Именно в монологе татарского ставленника Юрия проявляется уверенность в прирожденной жестокости московских князей, ради одного удовольствия гуляющих по улицам златоверхней столицы с кнутом (*“Rad by już wrócił do Moskwy Matuszki co w złotych wieżach stoi jakby w świecach, wziął knut i chodził sobie po ulicach”*) (Ibid.: 333). В данном представлении московского князя достаточно легко увидеть черты жестокого поведения юного Ивана Грозного, личность которого вызывала пристальный интерес у поэта, как можно судить по его отдельным запискам 1843–1849 годов (*Raptularz*) (Słowacki, 1996: 191–197). Указанные моменты, хоть и достаточно значимые, не могут исчерпать вопроса о весьма сложном отношении Словацкого к сплетению судеб Польши и Руси/России, которое поэт облакал в первую очередь в мистические формы. Недаром трагические судьбы Болеслава Смелого Словацкий воспринимал в категориях жертвоприношения: кровь Пяста — польского короля — должна была откупить прежние грехи Руси, о чем герою объявила его русская и православная мать — Мария-Добронегга, дочь Апостола Руси:

I rzekła: “W Tobie jest krew Włodzimierza
Świętego; — miałam z ducha objawienie
Ze ty za Rosję weźmiesz mękę krzyża
I cierń — i ćwieki — ocet — i ościenie

Przysiąż — bo śmierć się moja szybko zbliża —
Że ty za moje dalsze pokolenie
Weźmiesz zgon taki dobrowolnie krwawy
Jak Chrystus — z ducha wiem, u Złotej Hławy¹⁰
(Słowacki, 1952: V, 171–172)

Жертва мученичества, принесенная польским монархом, наполовину Рюриковичем, не являлась односторонним даром, чего можно было бы ожидать у поборника польского мессианизма. Скоро под пером поэта родился новый герой-искупитель, воплощающий Короля-Духа, — упомянутый выше Михаил Тверской, мученик святой Русской церкви (Kleiner, 1906: 1046 и далее). Причины того, что мистическим преемником польских монархов стал русский князь, должны быть достаточно весомыми, и отнюдь не сводятся к увлечению рассказом Карамзина. Обратим внимание на весьма интересные выводы Марка Трошинского, что несчастный Рюрикович является русским аватаром самого Словацкого (Troszyński, 2011; 2016).

Еще один элемент наглядно демонстрирует связь между “martyrium”¹¹ Михаила Тверского и Болеславом Смелым — пястовским воплощением Короля-Духа. В указанной сцене речь идет о клятве, «которая росла три века» (“*A przysięga rosła aż przez trzy wieki*”) (Słowacki, 1925: I, 172). При этом ровно три столетия отделяет мученичество Михаила Тверского в Орде (1318) от триумфального въезда в завоеванный Киев первого польского короля Болеслава I Храброго (который тоже является одним из воплощений «Короля-Духа!»), который видела собственными глазами Мария-Добронегга — дочь Владимира Великого и мать Болеслава II Смелого (1018).

Вне сомнения, данный сюжет заслуживает углубленного исследования. Однако стоит обратить внимание на один существенный момент поэтического нарратива: ведь коварной Москве, которую олицетворяет жестокий Юрий Данилович, противопоставлена Тверь в лице честного и смиренного князя Михаила, прадеда Ягеллонской династии и правителя княжества, традиционно союзного Литве. Ведь

¹⁰ Сказала: В Тебе есть кровь Владимира
Святого; — имела я от Духа явление,
Что за Россию возьмешь боль Распятия
И терно — и гвозди — и уксус — и копьё,
Дай клятву, ибо смерть моя уж на подходе, —
Что Ты за грядущие мои поколения,
Возьмешь добровольно конец тот кровавый,
Аки Христос — из духа знаю, у Золотой Главы.
(Пер. с пол. Х. Граля)

¹¹ мученичеством (лат.)

матерью первого польско-литовского монарха являлась супруга Ольгерда — тверская княгиня Ульяна Александровна! Учитывая, что память русской матери Ягайло была окружена в Речи Посполитой почитанием, а связи Ягеллонов с наследием рода Рюрика через Ульяну позволили королю Сизигмунду III в преддверии Смуты выдвигать свои права на московский престол (Grala, 2018a: 232–233, 238–243; 2018b: 338–341, 343–345), тверской сюжет оказывается наполненным глубоким смыслом. Не вызывает сомнений, что родственные связи тверской линии Рюриковичей с династией Ягеллонов были хорошо знакомы Словацкому благодаря труду Матфея Стрыйковского. При этом память об Ульяне Тверской была весьма жива в Вильнюсе времен молодости Словацкого. С ее деятельностью местная традиция связывала основание главных православных храмов литовской столицы: Никольской церкви и Троицкого собора, вокруг которого со временем возник базилианский монастырь, увековеченный в «Дзядях» Мицкевича как тюрьма филоматов!

Следует также упомянуть о нескрываемом уважении Словацкого к мифическому защитнику республиканских вольностей Великого Новгорода Вадиму (“*Nowogrodzianin Wadim! — niech to imię / przez wieki na tej pieśni sobie płynie*”) (Słowacki, 1952: V, 136; Grala, 1992: 151). Вряд ли можно согласиться, что упоминание Вадима является случайностью (Piwińska, 1992: 295), если, по мнению поэта, слава его должна продержаться в песне, как лебедь, который дремлет, плывя по течению реки, но проснется в стране солнца (“*Jak łabędź, który na rzece zadrzymie / I gdzieś obudzi się — aż w słońc krainie*”). Словацкий вряд ли мог заимствовать данный сюжет в трудах Нарушевича или Карамзина, но тема утраченных вольностей Новгорода и их последнего полулегендарного защитника еще со времен Екатерины II занимала не последнее место в видных произведениях российской художественной литературы, достаточно часто апеллирующей к прошлому надволховской республики (Моисеева, 1980: 157–166; Lübke, 1984). Да и вряд ли можно говорить о случайности, если учитывать весь контекст приведенного отрывка драмы:

Taki był jeden, który z tych okruchów
Wolności dawnej... wziął kosza siedmioro
I te kawałki chciał jeszcze rozmnożyć,
A nie mógł więcej jak duszę położyć...¹²
(Słowacki, 1952: V, 136)

¹² Был ведь один, кто из тех осколков
Свободы древней собрал семь в корзину
И те кусочки мечтал бы размножить
А не смог больше — чем живот положить...
(Пер. с пол. Х. Гралья)

Именно средневековые древнерусские республики — Новгород и Псков — польский поэт считал стержнем славянской демократии (*“Nowogrodzkie przeto i Pskowskie pierwiastki jeszcze aż dotąd są w Sławianizmie do odkrycia, jeszcze gdzieś pod grobami i popiołem palą się nie zgaszone”*). Он упоминал оскверненный самодержавием символ псковской демократии вечевого колокола и был уверен, что души убитых царем Иваном IV свободолюбивых новгородцев и псковичей вселились в поляков (*“bo Nowogrodzianie i Pskowianie to-potem wykradli się z ciał niewolniczych i Polakami zostali”*). Все это он изложил в открытом письме князю Адаму Чарторыйскому от февраля 1846 года (Słowacki, 1956: VII). Весьма красочный сюжет улетающих на запад душ замученных русичей, при участии которых идея свободы воплотилась в дворянскую демократию польско-литовской Речи Посполитой, появлялась у Словацкого и раньше, как следует из его письма Войтеху Штаттлеру от 1 января 1845 года (кстати, написанного параллельно с работой поэта над трудом Карамзина!). Это позволяет вникнуть в истоки его убеждения, что свобода является матерью русского народа (*“wolność matka rosyjskiego rodu”*) (Troszyński, 2014: 242; 2016: 32). Символическое соперничество между самодержавной Москвой и республиканским Новгородом проглядывается в отблесках их церковных куполов (а ведь согласно древнерусской традиции *«верх церковный есть глава Господня»*). С одной стороны, «златоглавая Москва», купола которой напоминают груши, как «старая ведьма в золотых чепцах», с другой — Господин Великий Новгород как «Тринадцатый апостол в митре с золотыми крестами» (*“Nowgorod Apostoł trzynasty / W mitrze... ze złotymi krzyżami”*) (Słowacki, 1952: V, 312). Именно вольный Новгород олицетворяет в творчестве поэта трагизм свободы, и благодаря этому «историю России вводит Словацкий в круг исторического величия» (А. Kowalczykowa).

В «Короле-Духе» непосредственно касается новгородской проблематики весьма важный сюжет, связанный с мифическим монархом Попелом, который в средневековую польскую историографию вошел как эталон злодея и убийцы: его сходство с царем Иваном Грозным остается вне дискуссии (Piwińska, 1992: 482). Многие мотивы, которые содержит I рапсод драмы (особенно его III Песня), легко узнаваемы: чередование оргиастических пиров и дикого раскаяния напоминает царский двор времен опричнины, карательная экспедиция — поход опричников на Новгород, увенчанный окончательным, весьма кровавым разгромом «мятежного города» (1570). В оппоненте «грозного царя» воеводе Свитине мы узнаем без труда князя Андрея Михайловича Курбского (поэтический текст его письма Попелу весьма схож с обвинениями князя-эмигранта в адрес кровавого самодержца из сохранившегося так называемого Первого послания Курбского). Даже сюжет печальной судьбы посланника воеводы — гусяря Зориана

(здесь Словацкий позволил себе светский реверанс перед одним из пионеров восточно-славянской археологии упомянутым выше Зорианом Доленгой-Ходаковским) — повторяет известный мотив мученической смерти Василия Шибанова, прославленного позднее известной балладой А.К. Толстого. Он был известен Словацкому из «Истории государства Российского» Карамзина, а также был упомянут Мицкевичем в его парижских лекциях (Słowacki, 1952: V, 44–48).

Словацкий обращал пристальное внимание на эпоху правления Ивана IV. В его записях 1843–1849 годов, говорящих о сборе материалов для будущей драмы, в первую очередь заимствуемых у Карамзина, находим описание раннего периода деятельности Ивана Грозного. Это и времена Избранной рады, и взятие Казани в 1552 году (с необычной констатацией, что оно напоминает «Освобожденный Иерусалим» Тассо!), и беседа царя со старцем Вассианом Топорковым, которой приписывают роль детонатора в процессе зарождения опричнины (Słowacki, 1996: 191, 197; Troszyński, 2014: 241–242; 2016: 52–53; Kiślak, 1991: 314).

Поэтическое описание карательной экспедиции и разгрома свитинского замка содержит удивительные сходства с рассказом Карамзина, в котором видны элементы «Повести о походе Ивана Васильевича на Новгород», современной трагическим событиям. Даже представление палачей Попела-Ивана, богато одетых и крылатых «как будто архангелы» (*“jakby archaniołów”*), оснащенных всяческими инструментами для пыток (Słowacki, 1952: V, 49–50), перекликается с донесениями современников о специфических атрибутах самих опричников (метлы, собачьи головы). Их происхождение надо искать в библейской и апокрифической традициях, представлениях о Страшном суде и псоглавцах (κύνοκέφαλοι) (Юрганов, 1998: 357–365, 395–397).

Тщательное знакомство с трудом Карамзина не свидетельствует о том, что Словацкий в своем видении Древней Руси полностью зависел от него и его древнерусских источников. Даже беглый разбор фрагментов «Короля-Духа», связанных с деятельностью двух польских королей — Болеслава Храброго и Болеслава Смелого и их киевскими походами, доказывает, что поэт прекрасно знал древние польские хроники Галла Анонима, Вицентия Кадлубека и Яна Длугоша. При этом он иногда осознанно позволял себе приписывать действия одного другому (переправа и бой на Буге, — кстати, отмечены и в древнерусской «Повести временных лет») или менять географический контекст некоторых событий. Так, известный мотив граничных железных столбов, которые согласно старинной хронологической традиции Храбрый приказал забивать в дно реки Зали, у Словацкого связан с Днепром. Согласно свидетельству Галла Анонима представлен и въезд короля-победителя в Киев, и его беседа со своим ставленником князем Изяславом. Соответствует средневековой агиографической традиции, правда более поздней,

чем обе упомянутые хроники, и сюжет морального разложения Болеслава в завоеванной стране (Banaszkiewicz, 1981: 358–360).

Даже весьма беглый обзор творчества Словацкого указывает на большой интерес поэта к древнерусской проблематике, который проявлялся не только в постоянной работе с современной польской и российской историографией (Карамзин, Нарушевич, Лелевель) и источниками («Повесть временных лет», хроники Галла Анонима, Винсентия Кадлубека, Яна Длугоша, Матфея Стрыйковского), но и со свидетельствами латинских авторов (Гильом де Рубрук). Благодаря свидетельству упомянутых выше «Записок» (*Raptularz*), работу Словацкого над своим «историческим станком» можно проследить словно на ходу — *in statu nascendi*¹³, вплоть до техники оформления выписок из использованных книг (Piwińska, 1992: 373–379).



Зигмунт Красинский. Фотопортрет, 1850-е

* * *

На фоне творчества Мицкевича, и особенно Словацкого, наличие древнерусских сюжетов в трудах последнего из великой триады польских романтиков представляется значительно скромнее. По сути дела, Зигмунт Красинский только один раз коснулся древнерусской проблематики — в своем не очень удачном историческом романе «Агай-Хан», завершенном в 1832 году и довольно быстро напечатанном (1833). Канвой для достаточно авантюрного и непростого сюжета псевдоисторического романа стала судьба небезызвестной Марины Мнишек, а стержнем сюжета — соперничество за ее сердце между казачьим атаманом Игорем Сагайдачным (!), в котором читатель без труда сможет узнать атамана Ивана Заруцкого, и каким-то татарским аристократом по имени Агай-Хан, который,

¹³ Здесь: в состоянии зарождения (лат.)

возможно, появился в рассказе в связи с описанным в исторических источниках убийством Лжедмитрия II ногайским князем Петром Урусовым.

Конечно, сам роман (а Красинский написал его под влиянием достаточно капитального труда Юлиана Урсына Немцевича “Dzieje panowania Zygmunta III” (1818–1819)), наполнен вымыслами и даже не очень хорошо свидетельствует о знании автором исторического материала. Кроме того, симптоматично, что автор вероятно закончил свой опус во время вынужденного пребывания в Санкт-Петербурге (согласно требованию отца — царского генерал-адъютанта Викентия Красинского). Учитывая, что свое полное подчинение воле отца-русофила Красинский компенсировал публичными заявлениями о ненависти к России, «впитанной с молоком матери» (одни заявления о желании «глотать кровь врагов» чего стоят), вряд ли стоит удивляться его крайне негативному изображению России времен Смуты (Kępiński, 1990: 110, 123–124; Grala, 1992: 151; Fiećko, 2005). Почти одновременно к незаурядному персонажу Марины обратились и его великие современники. Только что была напечатана драма Пушкина «Борис Годунов» (конец 1830, но с датой 1831 — в разгар польского восстания!), а скоро появилась и драма Словацкого «Балладина» (1834, напечатана в 1839), в которой у главной героини не зря находят демонические черты «Маринки» (Troszyński, 2014: 131–143).

* * *

Подведем итоги нашего исследования. Не подлежит сомнению, что польские романтики знали про Древнюю Русь немало, причем из источников весьма разнообразного происхождения: отечественных, российских, но иногда и западноевропейских. В своем творчестве они обращались не только к литературной традиции, но и к солидным историческим трудам, а также научным публикациям источников из описываемой эпохи (летописи, хроники, жития святых, эпика), фольклору и народной традиции. Не менее значимое место в созданных ими образах Древней Руси имел их личный опыт, память о той сложной и многоярусной культуре «Кресов» Речи Посполитой, в которой русское наследие играло весьма значимую роль. Стоит отметить, что Русь вещей польских поэтов отнюдь не однолика. Представление о ней сильно зависит от специфики «русской компоненты» в традиции родных краев отдельных авторов. Таким образом, для Адама Мицкевича, который получил образование в Вильнюсе, а потом работал в Ковно, древнерусские сюжеты являются неотъемлемой частью исторической и культурной традиции ВКЛ, точнее — его белорусских провинций. Московская Русь появляется здесь достаточно редко, в первую очередь как природный соперник и старинный враг.

Другой исторический горизонт мы находим у Словацкого, уроженца волынского Кременца, для которого традиция Древней Руси — это в первую очередь средневековый Киев (в силу исторических связей его князей с польской династией Пястов), а также Великий Новгород — главный очаг восточно-славянской демократии. Москва тоже не выпадает из исторической перспективы поэта, но зловещий вид «старой ведьмы, сидящей на славянском теле, упырихи», а также представление о своеобразной диффузии варяжского и ордынского наследия, вычеркивают ее, по сути дела, за пределы «истинной» Руси. В отличие от своего старшего коллеги и соперника, Словацкий в детские годы познавал Русь в другом локальном варианте — украинском. Таким образом в творчестве поэтов представлена была традиция всей «речипосполитской» Руси, с особенностями обеих ее составных частей: белорусской и украинской. Конечно, на опыт молодости у поэтов с течением времени наложился их более поздний круг чтения и поиски. Для Мицкевича решающее значение имел здесь процесс подготовки к лекциям в *College de France* (с 1840), для Словацкого — сам «исследовательский» стиль работы и сбор исторических материалов для данной литературной темы, заметный уже в самом начале его деятельности (Вильно, Варшава — 1825–1830).

Понятно также, почему значительно скромнее древнерусская традиция прослеживается в творчестве третьего из «пророков». Красинский детство провел в мазовецкой Ориногуре, а свои школьные и студенческие годы — в Варшаве, не имея возможности лично приобщиться к культурному наследию Древней Руси, русскому фольклору и традиции. Хотя по материнской линии он происходил от князей Радзивиллов, из ветви рода, сильно связанной именно с Новогрудчиной, по сути, ближе познакомился с восточнославянской проблематикой только во время своего не очень долгого пребывания в Петербурге (осень 1832 — весна 1833), в чем, кажется, и надо усматривать причину его невеликого интереса к истории Древней Руси.

Отношение к древнерусской истории и традиции Мицкевича и Словацкого, последовательно отличающих Русь и Россию, пересекается с политическими и цивилизационными традициями Речи Посполитой, в которых важное место занимала уходящая своими корнями еще в эпоху Ягеллонов и дипломатических споров Вильнюса и Варшавы с Москвой дихотомия *Ruthenia — Moscovia* (Grala, 2017a: 29–35, 44–47, 54–55; Grala, 2017b: 221–241). Учитывая данное обстоятельство, мы приходим к выводу, что в случае обоих поэтов большинство древнерусских сюжетов происходит из родной традиции, традиции их духовной Отчизны, опирающейся на весьма конкретные точки — места памяти на ментальной карте: ВКЛ, родственные связи Рюриковичей и Пястов, подвиги Гедиминовичей и Ягеллонов. Примечательно, что у уроженцев русских земель бывшего

Польско-Литовского государства пресловутая *Речь Посполитая Обоих Народов* (*Rzeczpospolita Obojga Narodów*) вырисовывается больше как *Речь Посполитая Трех Народов*. Они обращаются и к своей исторической русской составляющей, и это скоро проявится в программах польских инсургентов (достаточно вспомнить трехчастную печать национального правительства (*Rząd Narodowy*) времен Январского восстания 1863 года, где рядом с Орлом и Погоней представлен был киевский Архангел Михаил) (Sztakelberg, 1971: 501–508; 1988).

Оставаясь гражданами несуществующей Речи Посполитой, оба романтика воплощали идею ее обновленной формулы, где вместе с Коронай и Литвой было также место и для Руси. Со временем это стало находить позитивный отклик среди некоторых «русинов», о чем убедительно свидетельствуют известные стихи украинского поэта, сочиненные накануне Январского восстания:

Wo imya Otca i Syna
To nasza mołyтва
Jako Trojca tak jedyna
Polszcza, Rus' i Łyтва
(Platon Kosteki, Nasza mołyтва, — 1861)

Они весьма органично перекликались с поэзией польских повстанцев, где страдания под царской властью Руси отмечались вместе со страданиями Польши и Литвы:

Za wszystkie męki Polski, męki Litwy,
W imieniu wszystkich
naszej Rusi mąk,
Do bitwy bracia,
do śmiertelnej bitwy!¹⁴
(Włodzimierz Wolski, Marsz Powstańców)

¹⁴ За все страдания Польши, страдания Литвы,
Во имя всех
Страданий Руси нашей
В бой, братцы,
В смертный бой!
(Пер. с пол. Х. Граля)

Литература

Venclova, 1986 — *Венцлова Т.* К нулевому пра-тексту: заметки о балладе «Будрыс и его сыновья» // *Alexander Pushkin: Symposium II* / ed. by A. Kodjak, K. Pomorska and K. Taranovsky. Columbus, Ohio: Slavica Publishers, 1986. С. 78–87.

Grala, 2017b — *Граля Х.* «Ruś nasza» vs. Московия. Наследие Древней Руси как инструмент дипломатии Польско-Литовского государства XVI — первой половины XVII в. // *Древняя Русь после Древней Руси: дискурс восточнославянского (не)единства* / сост. А.В. Доронин. М.: Политическая энциклопедия, 2017. С. 215–241.

Mickiewicz, 1863 — *Мицкевич А.* Конрад Валленрод. Гражина. Поэмы Адама Мицкевича / пер. В. Бенедиктова, рис. И. Тысевича. СПб.: Изд. книгопродавца и типографа М.О. Вольфа, 1863. 191 с.

Mickiewicz, 1882 — *Мицкевич А.* Сочинения А. Мицкевича. Т. 1–5 / рус. пер. В. Бенедиктова, Н. Семенова и др. писателей под ред. П.Н. Полевого. СПб.; М.: Изд. книгопродавца-типографа М.О. Вольфа, 1882–1883. Т. 1: Биография. Мелкие стихотворения. 1882. XX, 348 с.

Моисеева, 1980 — *Моисеева Г.Н.* Древнерусская литература в художественном сознании и исторической мысли России XVIII века. Л.: Наука. Ленингр. отделение, 1980. 261 с.

Охотникова, 1985 — *Охотникова В.И.* Повесть о Довмонте (Исследование и тексты). Л.: Наука. Ленингр. отделение, 1985. 232 с.

Troszyński, 2011 — *Трошинский М.* Князь Михаил Тверской — русский аватар Словацкого // *Юлиуш Словацкий и Россия* / под ред. В. Хорева, Н. Филатовой. М.: Индрик, 2011. С. 20–37.

Юрганов, 1998 — *Юрганов А.Л.* Категории русской средневековой культуры. М.: МИРОС, 1998. 448 с.

Якобсон, 1984 — *Якобсон А.* Адам Мицкевич. К русским друзьям. URL: <https://www.antho.net/library/yacobson/translations/adam-mitskevich.html> (дата обращения: 01.12.2020).

Banaszkiewicz, 1981 — *Banaszkiewicz J.* Czarna i biała legenda Bolesława Śmiałego // *Kwartalnik Historyczny*. 1981. R. 88, No 2. S. 353–390.

Chodurska, 2019 — *Chodurska H.* Z tajemnic wschodnioeuropejskiej flory. O Mickiewiczowskich CARACH // *Studia Russologica*. 2019. No 12. S. 5–14.

Dudek, 2020 — *Dudek A.* Adama Mickiewicza antropologia kultury rosyjskiej // *Adam Mickiewicz i Rosjanie* / red. M. Dąbrowska, P. Głuszkowski, Z. Kaźmierczyk. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2020. S. 27–40.

Fiećko, 2005 — *Fiećko J.* Rosja Krasińskiego. Rzecz o nieprzejednaniu. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2005. 476 s.

Goldfrank, 1988 — *Goldfrank D.* Lithuanian Prince-monk Vojselk: a study of competing legends // *Harvard Ukrainian Studies*. 1988. Vol. 11, No 3–4. P. 44–76.

Grała, 1992 — *Grała H.* O genezie polskiej rusofobii (w związku z książką Andrzeja Kępińskiego) // *Przegląd Historyczny*. 1992. T. 83, No 1. S. 135–153.

Grała, 2017a — *Grała H.* Rzeczpospolita wobec pretensji Moskwy/Rosji do ziem ruskich // *O ziemię naszą, nie waszą. Ideowe aspekty procesów narodotwórczych w Europie Środkowej i Wschodniej* / pod red. Ł. Adamskiego. Warszawa: Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, 2017. S. 19–58.

Grała, 2018a — *Grała H.* Zygmunt III — potomek ‘Moskiewskiej’ księżniczki? (Wokół praw Wazów do carskiego tronu) // *Origines, fontes et narrationes — pośród kręgów poznania historycznego. Prace ofiarowane Profesorowi Marcelemu Antoniewiczowi w 65. rocznicę urodzin* / ed. M. Cetwiński and M. Janik in cooperation with M. Nita. Częstochowa: Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, 2018. S. 233–247.

Grała, 2018b — *Grała H.* “God save Tsar Vladislav”. Polish king as the successor of Muscovite Rurikids // *Spain — India — Russia. Centres, Borderlands and Peripheries of Civilizations. Anniversary Book Dedicated to Professor Jan Kieniewicz on His 80th Birthday* / ed. J.S. Ciechanowski, C. González Caizán. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 2018. P. 333–347.

Hoffmann-Piotrowska, 2020 — *Hoffmann-Piotrowska E.* Mickiewicz wobec Rosji w prelekcjach paryskich. Próba rewizji “przekłętego problem” // *Adam Mickiewicz i Rosjanie* / red. M. Dąbrowska, P. Głuszkowski, Z. Kaźmierczyk. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2020. S. 101–110.

Kępiński 1990 — *Kępiński A.* Lach i Moskal. Z dziejów stereotypu. Warszawa-Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990. 221 s.

Kiślak, 1991 — *Kiślak E.* Car-trup i król-duch. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 1991. 380 s.

Kiślak, 2011 — *Kiślak E.* Rosja w projekcie etycznym *Literatury Słowiańskiej* // *Prelekcje paryskie Adama Mickiewicza wobec tradycji kultury polskiej i europejskiej. Próba nowego spojrzenia* / pod red. M. Kalinowskiej, J. Ławskiego i M. Bizior-Dombrowskiej. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2011. S. 191–201.

Kleiner, 1906 — *Kleiner J.* Książę Michał Twerski. Czwarte wcielenie Króla-Ducha // *Tygodnik Ilustrowany*. 1906. No 48 (2456).

Lübke, 1984 — *Lübke Ch.* Novgorod in der russischen Literatur (bis zu den Dekabristen). Berlin: Duncker & Humblot, 1984. 250 s.

Mickiewicz, 1866 — *Mickiewicz A.* Żywila. Powiastka z dziejów litewskich. Paryż, 1866. Available at: URL: <https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/mickiewicz-zywila.pdf> (Accessed 1.12.2020).

Mickiewicz, 1955 — *Mickiewicz A. Dzieła*. Wydanie Jubileuszowe. T. I–XVI. Warszawa, 1955. T. VIII–XI: Literatura słowiańska / tłum. L. Płoszewski.

Mocha, 1972 — *Mocha Fr. The Karamzin-Lelewel Controversy // Slavic Review*. Vol. 31, No 3. P. 592–610.

Mucha, 1994 — *Mucha B. Rosyjscy słuchacze paryskich prelekcji Adama Mickiewicza o literaturze słowiańskiej // Pamiętnik Literacki: czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej*. 1994. T. 85/3. S. 123–146.

Piwińska, 1992 — *Piwińska M. Juliusz Słowacki od duchów*. Warszawa: PEN, 1992. 502 s.

Słowacki, 1925 — *Słowacki J. Król-Duch*. T. 1–2 / wydanie zupełne, komentowane, ułożył i kom. opatrzył J. Gw. Pawlikowski. Lwów: Altenberg, 1925. T. 1. 608 s.

Słowacki, 1952 — *Słowacki J. Dzieła*. T. I–XIV / wyd. II, pod red. J. Krzyżanowskiego. Wrocław, 1952. T. V: Król-Duch; T. X: Dramaty.

Słowacki, 1956 — *Słowacki J. Dzieła wszystkie*. T. I–XVII / red. J. Kleiner. Wrocław, 1952–1975. T. VII. 1956.

Słowacki, 1983 — *Słowacki J. Dzieła wybrane*. T. 1–6 / pod red. J. Krzyżanowskiego, Wrocław, 1983. T. 5.

Słowacki, 1996 — *Słowacki, J. Raptularz 1843–1849 / ed. M. Troszyński*. Warszawa: Topos, 1996. 340 s.

Słowacki, 2013 — *Słowacki J. Mindowe*. Warszawa, 2013. Available at: URL: <https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/slowacki-mindowe.pdf> (Accessed 1.12.2020).

Sztakelberg, 1988 — *Sztakelberg J. Pieczęcie powstańcze, 1863–1864*. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988. 388 s.

Sztakelberg, 1971 — *Sztakelberg J.I. Godło powstańcze 1863 roku // Przegląd Historyczny*. 1971. T. 62, No 3. S. 501–508.

Tarczyński, 1988 — *Tarczyński M. Generalicja Powstania Listopadowego / wyd. II*. Warszawa: Wyd. Min. Obrony Nar., 1988. 310 s.

Tęgowski, 1999 — *Tęgowski J. Pierwsze pokolenie Giedyminowiczów*. Poznań; Wrocław: Wyd. Historyczne, 1999. 319 s.

Troszyński, 2014 — *Troszyński M. Słowacki. Poza kanonem*. Gdańsk: Słowo/obraz terytoria, 2014. 416 s.

Troszyński, 2016 — *Troszyński M. Książę Michał Twerski. Rosyjski awatar Juliusza Słowackiego // Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza*. 2016. Rok IX (LI). S. 51–70.

Walicki, 1970 — *Walicki A. Prelekcje Mickiewicza a słowianofilstwo rosyjskie // Walicki A. Filozofia a mesjanizm. Studia z dziejów filozofii i myśli religijnej romantyzmu polskiego*. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970. 316 s.

ANCIENT RUS' OF POLISH ROMANTICS

Hieronim Grala — DSc in History, Associate Professor, Faculty of “Artes Liberales”. Laboratory Head, International Laboratory “Comissio Polono-Russica”. Editor-in-Chief of the “Monumenta historica res gestas Europae Orientalis illustrantia. Fontes XV–XVII saec” (Warsaw — Moscow). University of Warsaw. 69 Nowy Świat Str., Warsaw, 00-046, Poland. ORCID: 0000-0003-3755-2469.
E-mail: grala@al.uw.edu.pl

 *Abstract.* This article examines the place of the history of Ancient Rus in the works of the most eminent Polish Romantics — Adam Mickiewicz and Juliusz Slowacki — with the help of a wide range of written sources (literary works, diaries, lectures, and correspondence). The focus is on (no mistake here, just to avoid repeating “analysis”) the connection between individual historical plots and the Romantics’ range of literary interests as well as their erudition, but also on their independent attempts to create their own personal historiosophy of the common destiny of the Slavic peoples. As a result of the analysis of medieval Polish and Russian sources, many corrections have been made to the interpretation of individual subjects and their historical context. The issue of the dependence of the authors’ historical ideas on the culture and traditions of the Russian lands of the former Polish-Lithuanian Commonwealth and the centuries-old antinomy that characterizes it: Russia (*Ruthenia*) vs Russia (*Moscovia*) is analyzed separately.

 *Keywords:* Ancient Russia, A. Mickiewicz, J. Słowacki, Slavs, Polish romanticism, Russian-Polish relations

 **For citation:** Grala, H., 2021. Ancient Rus’ of Polish romantics. *Philosophical Letters. Russian and European Dialogue*, 4(1), 159–189. (in Russ.)

 **DOI:** 10.17323/2658-5413-2021-4-1-159-189

References

Banaszkiewicz, J., 1981. Czarna i biała legenda Bolesława Śmiałego [Black and white Legend of Boleslaw the Generous]. *Kwartalnik Historyczny*, 88(2), 353–390.

Chodurska, H., 2019. Z tajemnic wschodnioeuropejskiej flory. O Mickiewiczowskich CARACH [From the mysteries of the eastern European flora. About the Mickiewicz tsars]. *Studia Russologica*, (12), 5–14.

Dudek, A., 2020. Adama Mickiewicza antropologia kultury rosyjskiej [Adam Mickiewicz anthropology of Russian culture]. In: *Adam Mickiewicz i Rosjanie* [Adam Mickiewicz and the Russians]. M. Dąbrowska, P. Głuszkowski, Z. Kaźmierczyk, eds. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar Publ., 27–40.

Fiećko, J., 2005. Rosja Krasieńskiego. Rzecz o nieprzejednaniu [Krasinski's Russia. A tale of implacability Non-negotiable]. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza Publ.

Goldfrank, D., 1988. Lithuanian Prince-monk Vojselk: a study of competing legends. *Harvard Ukrainian Studies*, 11(3–4), 44–76.

Grala, H., 1992. O genezie polskiej rusofobii (w związku z książką Andrzeja Kępińskiego) [On the genesis of Polish Russophobia (in connection with the book by Andrzej Kępiński)]. *Przegląd Historyczny*, 83(1), 135–153.

Grala, H., 2017a. Rzeczpospolita wobec pretensji Moskwy/Rosji do ziem ruskich [The Polish-Lithuanian Commonwealth in the face of Moscow/Russia's claim to the Ruthenian lands]. In: *O ziemię naszą, nie waszą. Ideowe aspekty procesów narodotwórczych w Europie Środkowej i Wschodniej* [For our land, not yours. Ideological aspects of nation-building processes in Central and Eastern Europe]. Ł. Adamski, ed. Warszawa: Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia Publ., 19–58.

Grala, H., 2017b. “Ruś nasza” vs. Moskoviya. Nasledie Drevnei Rusi kak instrument diplomatii Połsko-litovskogo gosudarstva XVI — pervoi poloviny XVII veka [“Ruś nasza” vs. Muscovy. The legacy of Ancient Rus as an instrument of diplomacy of the Polish-Lithuanian state of the 16th — first half of the 17th century]. In: *Drevnyaya Rus' posle Drevnei Rusi: diskurs vostochnoslavyanskogo (ne)edinstva* [Ancient Rus after Ancient Rus: discourse of East Slavic (non)unity]. Compiled by A.V. Doronin. Moscow: Politicheskaya entsiklopediya Publ., 215–241.

Grala, H., 2018a. Zygmunt III — potomek ‘Moskiewskiej’ księżniczki? (Wokół praw Wazów do carskiego tronu) [Sigismund III — a descendant of the ‘Moscow’ princess? (Around the rights of Vasas to the Tsarist throne)]. In: *Origines, fontes et narrationes — pośród kręgów poznania historycznego. Prace ofiarowane Profesorowi Marcelemu Antoniewiczowi w 65. rocznicę urodzin* [Origines, fontes et narrationes — among the circles of historical knowledge. Works offered to Professor Marcel Antoniewicz in 65 anniversary of birth]. M. Cetwiński and M. Janik, eds. in cooperation with M. Nita.

Częstochowa: Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie Publ., 233–247.

Grala, H., 2018b. “God save Tsar Vladislav”. Polish king as the successor of Muscovite Rurikids. In: J.S. Ciechanowski and C. González Caizán, eds. *Spain — India — Russia. Centres, Borderlands and Peripheries of Civilizations. Anniversary Book Dedicated to Professor Jan Kieniewicz on His 80th Birthday*. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa Publ., 333–347.

Hoffmann-Piotrowska, E., 2020. Mickiewicz wobec Rosji w prelekcjach paryskich. Próba rewizji “przekletego problem” [Mickiewicz to Russia in the Paris lectures. Revision attempt “cursed issue”]. In: *Adam Mickiewicz i Rosjanie* [Adam Mickiewicz and the Russians]. M. Dąbrowska, P. Głuszkowski, Z. Kaźmierczyk, eds. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar Publ., 101–110.

Jakobson, A., 1984. *Adam Mitskevich. K russkim druž'jam* [Adam Mitskevich. To Russian friends]. Available at: URL: <https://www.antho.net/library/yacobson/translations/adam-mitskevich.html> (Accessed 01.12.2020).

Kępiński, A., 1990. *Lach i Moskal. Z dziejów stereotypu* [Lach and Moskal. From the history of the stereotype]. Warszawa-Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe Publ.

Kiślak, E., 1991. *Car-trup i król-duch* [The Tsar-corpse and the Spirit-King]. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN Publ.

Kiślak, E., 2011. Rosja w projekcie etycznym Literatury Słowiańskiej [Russia in the ethical project of Slavic literature]. In: *Prelekcje paryskie Adama Mickiewicza wobec tradycji kultury polskiej i europejskiej. Próba nowego spojrzenia* [Adam Mickiewicz’s Paris lectures on the traditions of Polish and European culture. Trying a new look]. M. Kalinowska, J. Ławski and M. Bizior-Dombrowska, eds. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Publ., 191–201.

Kleiner, J., 1906. Książę Michał Twerski. Czwarte wcielenie Króla-Ducha [Prince Michał Twerski. The fourth incarnation of the King-spirit]. *Tygodnik Ilustrowany*, 48(2456).

Lübke, Ch., 1984. *Novgorod in der russischen Literatur (bis zu den Dekabristen)* [Novgorod in Russian literature (up to the Decembrists)]. Berlin: Duncker & Humblot Publ.

Mickiewicz, A., 1863. *Konrad Vallenrod. Grazhina. Poemy Adama Mitskevicha* [Konrad Wallenrod. Grazhina. Poems by Adam Mitskevich]. Translated by V. Benediktov, illustrated by I. Tysevich. St Petersburg: Izdanie knigoprodavtsa i tipografa M.O. Vol’fa Publ.

Mickiewicz, A., 1866. *Żywila. Powiastka z dziejów litewskich* [Zhivila. A tale from Lithuanian history]. Paryż. Available at: URL: <https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/mickiewicz-zywila.pdf> (Accessed 1.12.2020).

Mickiewicz, A., 1882. *Sochineniya A. Mitskevicha* [Works by A. Mitskevich]. 5 vols. Vol. 1. Translated into Russian by V. Benediktov et al., P.N. Polevoi, ed. St Petersburg; Moscow: Izdanie knigoprodavtsa-tipografa M.O. Vol'fa Publ.

Mickiewicz, A., 1955. *Dzieła. Wydanie Jubileuszowe* [Works. Jubilee Edition]. 16 vols. Vol. VIII–XI. Warszawa.

Mocha, Fr., 1972. The Karamzin-Lelewel Controversy. *Slavic Review*, 31(3), 592–610.

Moiseeva, G.N., 1980. *Drevnerusskaya literatura v khudozhestvennom soznanii i istoricheskoi mysli Rossii XVIII veka* [Old Russian literature in the artistic consciousness and historical thought of Russia in the 18th century]. Leningrad: Nauka. Leningradskoe otdelenie Publ.

Mucha, B., 1994. Rosyjscy słuchacze paryskich prelekcji Adama Mickiewicza o literaturze słowiańskiej [Russian listeners of the Paris lectures of Adam Mickiewicz on Slavic literature]. *Pamiętnik Literacki: czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej* [Literary diary: a quarterly journal devoted to the history and criticism of Polish literature], 85/3, 123–146.

Okhotnikova, V.I., 1985. *Povest' o Dovmonte (Issledovanie i teksty)* [The Tale of Dovmont (Research and Texts)]. Leningrad: Nauka. Leningradskoe otdelenie Publ.

Piwińska, M., 1992. *Juliusz Słowacki od duchów* [Juliusz Słowacki from ghosts]. Warszawa: PEN Publ.

Słowacki, J., 1925. *Król-Duch* [The Spirit-King]. 2 vols. Vol. 1. Compiled, commented by J.Gw. Pawlikowski. Lwów: Altenberg Publ.

Słowacki, J., 1952. *Dzieła* [Works]. 14 vols. J. Krzyżanowski, ed., 2nd ed. Wrocław.

Słowacki, J., 1956. *Dzieła wszystkie* [All works]. 17 vols. Vol. VII. J. Kleiner, ed. Wrocław.

Słowacki, J., 1983. *Dzieła wybrane* [Selected works] 6 vols. Vol. 5. J. Krzyżanowski, ed. Wrocław.

Słowacki, J., 1996. *Raptularz 1843–1849* [Diary 1843–1849]. M. Troszyński, ed. Warszawa: Topos Publ.

Słowacki, J., 2013. *Mindowe* [Mindowe]. Warszawa. Available at: URL: <https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/slowacki-mindowe.pdf> (Accessed 1.12.2020).

Sztakelberg, J., 1988. *Pieczęć powstańcze, 1863–1864* [Insurgent seals, 1863–1864]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe Publ.

Sztakelberg, J.I., 1971. Godło powstańcze 1863 roku [Insurgent emblem of 1863]. *Przegląd Historyczny*, 62(3), 501–508.

Tarczyński, M., 1988. *Generalicja Powstania Listopadowego* [Generals of the November Uprising]. 2nd ed. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej Publ.

Tęgowski, J., 1999. *Pierwsze pokolenie Giedyminowiczow* [The first generation of Gediminids]. Poznań; Wrocław: Wydawnictwo Historyczne Publ.

Troszyński, M., 2011. Knyaz' Mikhail Tverskoi — russkii avatar Slovatskogo [Prince Mikhail of Tver — Russian avatar of Slovatsky]. In: *Yuliush Slovatskii i Rossiya* [Juliusz Slovacki and Russia]. V. Khorev and N. Filatov, eds. Moscow: Indrik Publ., 20–37.

Troszyński, M., 2014. *Słowacki. Poza kanonem* [Słowacki. Beyond the canon]. Gdańsk: Słowo/obraz terytoria Publ.

Troszyński, M., 2016. Książę Michał Twerski. Rosyjski awatar Juliusza Słowackiego [Prince Mikhail of Tver. Russian avatar of Juliusz Słowacki]. *Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza* [Yearbook of the Literary Society of Adam Mickiewicz], IX(LI), 51–70.

Venclova, T., 1986. K nulevomu pra-tekstu: zametki o ballade “Budrys i ego synov’ya” [On the topic of the initial urtext: Notes on the Ballad “Budrys and His Sons”]. In: A. Kodjak, R. Pomorska and K. Taranovsky, eds. *Alexander Pushkin: Symposium II*. Columbus, Ohio: Slavica Publishers Publ., 78–87.

Walicki, A., 1970. Prelekcje Mickiewicza a słowianofilstwo rosyjskie [Mickiewicz's lectures and Russian Slavophilism]. In: Walicki, A. *Filozofia a mesjanizm. Studia z dziejów filozofii i myśli religijnej romantyzmu polskiego* [Philosophy and messianism. Studies in the history of philosophy and religious thought of Polish Romanticism]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy Publ.

Yurganov, A.L., 1998. *Kategorii russkoi srednevekovoi kul'tury* [Categories of Russian medieval culture]. Moscow: MIROS Publ.